

СОЧИНЕНИЯ Т. Н. ГРАНОВСКОГО

Том первый. Москва. 1856.

Когда, по смерти замечательного ученого или поэта, даются его друзьями и почитателями обещания издать полное собрание его сочинений, публика не обольщается надеждою, что слова эти непременно будут исполнены; а тому, чтобы обещания исполнились скоро и удовлетворительно, она решительно не верит. И нельзя не сказать, что такая недоверчивость основательна: публика была слишком часто обманываема подобными обещаниями. Лет пять заставили ее ждать дополнительных томов к первому посмертному изданию творений Пушкина (1841 года), и — боже! — каково было это издание! Любители курьезных книг должны дорожить им, как дивом небрежности и неряшества внешнего и внутреннего, как редкостью, достойною занимать место на ряду с тем знаменитым изданием Виргилия, в котором список типографских и других погрешностей наполнил в полтора раза более страниц, нежели самый текст¹. Относительно русской поэзии довольно этого примера. Наука наша еще несчастнее на посмертные издания. Укажем один случай: Прейс, один из первых славянистов Европы, оставил много сочинений; но почти все они хранились еще в рукописи, когда постигла его слишком ранняя смерть. Напечатаны им при жизни были только немногие и небольшие по объему статьи, удивляющие ученостью и глубокомыслием. Важность оставшихся в рукописи трудов его была несомненна. Несколько лет мы постоянно слышали, что рукописи Прейса готовятся к изданию... вот прошло десять лет, а еще ни одна строка из них не явилась в печати, да и самые слухи об издании совершенно замолкли: довольно, должно быть, того, что поговорили о нем. Таких фактов можно было бы припомнить десятки. Неудивительно после того, что публика мало надеется на посмертные издания.

Тем более чести друзьям покойного Грановского, которые принятую ими на себя священную обязанность исполняют, как

видим, ревностно и честно. Первый том обещанного издания уже в руках публики; второй явится через два или три месяца, и, таким образом, еще до истечения года со времени тяжелой потери, нанесенной не только нашей науке, но и обществу русскому смертью автора, друзья его исполнят ту часть своего долга, совершение которой зависит исключительно от их усердия: два тома эти соединяют в себе все, что было напечатано Грановским при жизни. Остается другая, еще более важная половина дела: напечатать по рукописи Грановского составленную им часть учебника всеобщей истории и, по запискам его слушателей, знаменитые его университетские курсы. Ревность, уже доказанная издателями, ручается за то, что и тут они сделают все зависящее от них для удовлетворения ожиданиям публики. Надобно надеяться, что им удастся дать нам полные курсы Грановского.

Внешний вид издания совершенно удовлетворителен. Цена назначена очень умеренная — три рубля за два больших тома: очевидно, издатели заботятся о том, чтобы дешевизна книги позволяла большинству небогатых читателей приобретать издание. Прекрасный пример, которого не должны были бы дожидаться другие издатели, возбуждающие против себя справедливый ропот за то, что слишком высокою ценою препятствуют должному распространению в массе публики книг, наиболее любимых и необходимых каждому образованному человеку. Г. Кудрявцев, на котором лежат главные труды по изданию, как видно из предисловия, и г. Соловьев, разделявший с ним заботы по редакции, приобретают этим прекрасным делом новое право на признательность публики.

Характер предисловия, приложенного к первому тому, заставляет нас сделать догадку, в справедливости которой нельзя сомневаться, принимая во внимание энергию, с какою друзья Грановского заботятся о его памяти. «Известие о литературных трудах Грановского», написанное г. Кудрявцевым, занимается исключительно характеристикою литературных приемов и привычек покойного историка, нисколько не касаясь его биографии. Это заставляет думать, что жизнеописание его составляет предмет отдельного и обширного труда. В плане издания, объясняемом г. Кудрявцевым, не упоминается о выборе из корреспонденции Грановского, без сомнения, очень важной для его биографии, да и вообще для истории нашей литературы: это служит новым подтверждением выраженной выше догадки. Итак, есть основания думать, что жизнь Грановского будет нам рассказана со всею возможною в настоящее время полнотою. С живейшим интересом будем ожидать этой биографии, а пока воспользуемся теми сведениями, какие сообщает предисловие, для характеристики привычек Грановского, как литератора.

Грановский писал гораздо менее, нежели должно было желать. Чем объяснить это? Ужели только нелюбовью к механическому

труду, соединенному с изложением мыслей на бумаге? Так думали иные. Г. Кудрявцев находит это слишком поверхностное объяснение неудовлетворительным и приводит другие, гораздо вернейшие.

В Грановском (говорит он) соединились два качества, которые не часто встречаются вместе: ум его был столько же ясный и живой, сколько и основательный. Его не удовлетворяло поверхностное знание предмета, первое знакомство с ним. Его не пугали самые трудные задачи науки: он любил брать их «с боя» (как сам же он выразился в одной своей статье), но не довольствовался своею первою победою. Не останавливаясь на первом полученном успехе, он находил в нем лишь новые побуждения к тому, чтобы усилить занятия предметом. Чем больше знакомился он с вопросом, тем больше любил углубляться в него. Однажды выработанная мысль не принимала в нем навсегда неподвижную форму, закрытую для всякого дальнейшего развития. Каждое новое исследование, соприкасающееся с предметом его занятий, наводило его на новые соображения. Оттого нередко случалось, что Грановский, уже обдумавши свой собственный план, или отказывался от него, или отлагал на неопределенное время его исполнение, находя, что он еще не довольно соответствовал современным требованиям науки. Время, между тем, наводило нашего ученого на другие вопросы, и возбужденная ими любознательность вызывала его на новые занятия. Таким образом, несколько обширных планов, задуманных им еще во время пребывания за границею, остались неисполненными, хотя для них уже заготовлено было много материала... С необыкновенною живостью переходя от одного вопроса науки к другому, Грановский никогда, Впрочем, не терял из виду прежних задач: напротив, он часто возвращался к ним с новым воодушевлением, — но за то и с большею взыскательностью к самому себе. Не довольно было, чтобы мысль много занимала его: он не прежде приступал к литературной обработке ее, как давши ей созреть в себе и достигнув ясного понимания ее в самых подробностях... Грановский был вовсе чужд того литературного легкомыслия, которое спешит всякую случайно намернувшуюся мысль тотчас передать публике... Говоря о Грановском, как о писателе, не надобно также забывать его в высокой степени симпатическую природу, постоянно обращенную ко всем живым явлениям в современности. Можно сказать, что ни одно замечательное явление в умственном мире и в общественном быту не ускользало от его внимания. Мысль его устремлялась всюду, где только находила след человеческой деятельности... Некоторые читатели были очень изумлены, увидев напечатанное в одном журнале, с именем Грановского, чтение «Об Океании и ее жителях»: с какой стати было ему говорить об Океании? Каким образом мысль историка могла быть завлечена в такую неисторическую страну? Дело, однако, объясняется очень просто. Где только находилось какое-нибудь людское общество, там непременно хотела присутствовать и неутомимая мысль нашего ученого... До нас дошло лишь одно такое чтение: но читатель может судить по нем, какое обширное изучение предмета автор обыкновенно полагал в основание своих выводов. — Если дальний и малоизвестный свет так много занимал нашего ученого, то можно себе представить, с каким живым интересом следил он за всем тем, что делалось и происходило вокруг него. Современные общественные явления не имели между нами более восприимчивого органа для себя. Все, что было в них как отрадного, так и горького, — все это находило самый искренний и горячий отзыв в его душе... Понятно, что при такой чувствительности к современному, вопросы, предлагаемые наукою о прошлой жизни, нередко уходили на задний план. Это не значит, конечно, чтобы Грановский терял их из виду; но перед лицом великих современных событий они нередко теряли тот животрепещущий интерес, который тотчас ищет себе выхода в литературу... К тому же, общительный от природы, любя более всего живое, свободное слово, он часто довольствовался

этим средством сообщения своих мыслей... Оттого-то, между прочим, Грановский предпочитал столько любимую им форму публичных чтений всякому другому способу изложения своих мыслей.

Прибавим к этому другие обстоятельства, на которые намекает г. Кудрявцев, — между прочим, что литературная форма у нас очень узка, если можно так выразиться; что Грановский был доволен своим сочинением только тогда, когда успевал сообщить мысли совершенно художественную форму, под которую, конечно, надобно понимать не только внешнюю обработку слога, но также полноту и ясность развития мысли, — и нам не будет казаться странным, что Грановский писал мало. Это было следствием того, что он верно понимал свое положение и обязанности. У нас в деле науки почти совершенно нет разделения работ, потому что мало людей, приготовленных к ученому труду. Ученый, одаренный способностями, которые ставят его выше толпы, до сих пор еще находится в положении, отчасти сходном с положением Ломоносова: не одно дело, а десять, двадцать дел должен брать он в свои руки, если хочет быть истинно полезен. В Германии, в Англии историк может спокойно обрабатывать избранный предмет, не отвлекаясь ничем — он служитель науки, и только; весь долг его ограничивается тем, чтобы быть трудолюбивым специалистом — остальным потребностям общества удовлетворяют другие люди. У нас положение истинного ученого, каким был Грановский, еще не таково. До сих пор он служитель не столько своей частной науки, сколько просвещения вообще — задача, несравненно более обширная. Известно, что западные ученые почти всегда избирают предпочтительным предметом своих занятий одну какую-нибудь часть истории: иной трудится почти исключительно над разработкою греческой истории, другой — римской, третий — истории Италии или Германии, да и то не во всем ее объеме, а преимущественно или в средние века, или в эпоху возрождения, или в новое время. Кроме этого небольшого участка, все остальные народы и времена уже не развлекают его сил и внимания: то — особенные участки, о которых нечего заботиться, потому что они обрабатываются другими деятелями. У нас не то: деятелей так мало, что они еще не могут ограничиться разработкою отдельных частей науки — иначе большая часть ее останется еще совершенно чуждою, неведомою нашему обществу; они даже не могут сосредоточить своего внимания на избранной ими специальной науке, — потому что другие, сродные с нею, необходимые для ее успехов отрасли знания не находят еще себе возделывателей; ученый, понимающий свое отношение к потребностям публики, все еще чувствует у нас слишком сильную потребность быть не столько специалистом, сколько энциклопедистом. Не трудное и почетное в ученом смысле дело — заняться разработкою эпохи феодализма или реформации, греческой или немецкой истории — тут можно создать творения капитальные, которыми

данный вопрос двинется вперед для науки, и ученая слава наградит труженика. Но то ли у нас нужно? Прежде, нежели заботиться о движении вперед науки, надобно позаботиться о том, чтобы усвоить ее нашему обществу — подвиг вовсе не блестящий, в научном смысле, подвиг не специалиста, увенчиваемого музео: Клио, а просветителя своей нации, за отречение от обольщений личной славы вознаграждаемого только сознанием, что он делает полезное для общества дело. Есть люди, которые думают, будто наше общество уже достаточно ознакомилось с наукою в современном ее состоянии, которые даже удивляются богатству и основательности знаний в нашем обществе. «Познания у нас, русских, так разнообразны и обширны (восклиcaют эти люди, слишком доверчивые к своему), умственные способности так развиты, ясность и быстрота понятий доведены до такой высокой степени, что изумишься поневоле!» («Моск[овский] сбор[ник]», 1846 г., статья г. Хомякова: «Мнение русских об иностранцах», стр. 151). Но в этом изумлении от наших чрезвычайных умственных богатств гораздо больше субъективных, нежели объективных оснований, или, пожалуй, больше доброй воли, нежели основательности. На самом деле у нас очень мало людей, которые следили бы за наукою, — тем больше, разумеется, чести немногим, действительно следящим за нею. Но обязанность их совершенно не та у нас, как на Западе, потому что они должны действовать в обществе, находящемся не на той степени умственного развития, как западное общество. Там прогресс состоит в дальнейшей разработке самой науки, у нас до сих пор еще в том, чтобы полнее усваивать результаты, которых уже достигла наука; там на первом плане стоят потребности науки, у нас — потребности просвещения.

Грановский понимал это и служил не личной своей ученой славе, а обществу. Этим объясняется весь характер его деятельности. Специальная наука его была история. Чего недостает нам в настоящее время по этой важной отрасли знания? Чем мучится наше общество? Тем ли, что многие очень важные вопросы в этой науке еще не разрешены? Нимало; оно даже не предчувствует существования этих неразрешенных вопросов, и если слышит, что в науке еще не все сделано, то наивно предполагает нерешенными именно те вопросы, которые давно уже объяснены *.

* До какой степени простирается эта ошибка, можно видеть например, из статьи «Московского сборника», о которой упомянули мы выше. Автор, бесспорно принадлежащий к числу просвещеннейших людей у нас, говорит, между прочим, что наши ученые должны решить те важнейшие вопросы в истории, которые не решены западною наукою, и ссует на наших историков за то, что не двинули этих вопросов вперед, не сказали о них ничего нового. Каковы же задачи, не разъясненные, по мнению автора, наукою? Вот они: «Догадались ли мы, что каждый народ представляет такое же живое лицо, как и каждый человек, и что внутренняя его жизнь есть не что

Возможность подобных недоразумений ясно указывает на то, в чем состоит истинная потребность нашего общества: в настоящее время ему нужно заботиться о том, чтобы короче познакомиться с наукою в ее современном положении. Оно и само требует от своих ученых именно этой, а не какой-нибудь другой услуги: они должны быть посредниками между наукою и обществом. Таков и был Грановский. Но если мы до сих пор еще слишком мало усвоили себе науку, то главною виною этому в настоящее время должны считаться не какие-нибудь внешние препятствия, как то было до Петра Великого, а равнодушие самого общества ко всем высшим интересам общественной, умственной и нравственной жизни, ко всему, что выходит из круга личных житейских забот и личных развлечений. Это наследство котошихинских времен, времен страшной апатии. Привычки не скоро и не легко отбрасываются и отдельным лицом; тем медленнее покидаются они целым обществом. Мы еще очень мало знаем не потому, чтоб у нас не было дарований — в них никто не сомневается, — не потому, чтоб у нас было мало средств — всякий народ имеет силу дать себе все, чего серьезно захочет, — но потому, что мы до сих пор все еще дремлем от слишком долгого навыка к сну. Оттого-то существеннейшая польза, какую может принести у нас обществу отдельный подвижник просвещения, по-

инное, как развитие какого-нибудь нравственного или умственного начала, осуществляемого обществом?» (Об этом давно все твердят с голоса Гегеля: трудно найти историческую книгу за последние двадцать лет, в которой бы дело это излагалось неудовлетворительно; в настоящее время скучно уже и говорить о подобных вещах.) «Самые важные явления в жизни человечества остались незамеченными. Так, например, критика историческая не заметила, что многое утратилось и обмелело в мыслях и познаниях человеческих, при переходе из Эллады в Рим и от Рима к романизированным племенам Запада». (С того времени, как принялись за изучение греческих классиков, каждому известно, что греки в науке и поэзии были выше римлян, что Гомер выше Вергилия, перед Платоном и Аристотелем ничтожен Цицерон, как философ и т. д.; а то, что латинские классики неизмеримо выше средневековых писателей, было всем известно даже в средние века.) «Так разделение Империи на две половины после Диоклетиана и Константина является постоянно делом грубой случайности, между тем, как очевидно оно произошло от разницы между просвещением эллинским и римским». (Да у какого же историка представляется оно делом грубой случайности? И какой историк не понимает и не объясняет, что деление произошло от разности между цивилизацией греческого и римского мира, Восточной и Западной империи? и т. д., смотр. «Московский сборник», 1846 г., статья г. Хомякова стр. 157—160.) В истории очень много неразрешенных вопросов; но к ним нимало не принадлежат задачи, на которые указывает русскому историку автор: о предметах, им исчисляемых, ни русский, ни немецкий, ни французский историк не может сказать ничего существенно нового, потому что они объяснены очень удовлетворительно. Говоря о них что-нибудь различное от настоящих решений, давно данных наукою, можно разве только повторять контраверсистов и схоластиков, например, в вопросах о Византии Адама Церникава (Zernikaw — Зерников? Жернаков?) — тут будет еще меньше нового и самостоятельного, нежели в согласии с основательными решениями современной науки.

средством своей публичной деятельности, состоит не только в том, что он непосредственно сообщает знание — такой даровитый народ, как наш, легко приобретает знание, лишь бы захотел — но еще более в том, что он пробуждает любознательность, которая у нас еще недостаточно распространена. В этом смысле, лозунгом у нас должны быть слова поэта:

Ты вставай, во мраке спящий брат! ²

Наконец, на людях, щедро наделенных природою и высоко развитых наукою, есть у нас еще обязанность, мало развлекающая силы западных ученых. Общество дает у нас мало опоры научным и человеческим стремлениям; воспитание наше обыкновенно бывает неудовлетворительно: оно не полагает твердых оснований нашей будущей деятельности, не влагает в нас никакого сильного стремления, никакого определенного взгляда на самые простые житейские и умственные вопросы. Потому даже в людях наиболее даровитых и развитых, по уму, знанию и положению имеющих призвание быть деятелями просвещения, по большей части не бывает никаких бодрых и решительных стремлений; мысли их колеблются, перепутываются, деятельность не имеет никакой определенной цели; они часто готовы бывают блуждать сами в смутном хаосе недоумений, по воле случая направляясь то туда, то сюда, не приходя и сами ни к чему достойному внимания, не только не проводя за собою других к какой-нибудь возвышенной цели. Для них бывает нужен человек, который постоянно возбуждал бы в них желание искать истинный путь, постоянно указывал бы направление их деятельности, решал бы их недоумения, который был бы для них авторитетом и оракулом. Вообще, часто бывает нужно восставать против слепого увлечения авторитетами; быть может, настанет время, когда люди найдут, что могут обходиться и без авторитетов: тогда люди будут гораздо счастливее, нежели были до сих пор. Но пока — и это «пока» продолжится еще целые века — сила привычки и апатии так еще сильна, что большинство чувствует себя спокойным и уверенным только тогда, когда встречает объяснение стремлениям века и ободрение своим мыслям в каком-нибудь авторитете. Особенно должно сказать это о нашем молодом обществе. Оно не может, кажется, шагу ступить без поддержки какой-нибудь сильной отдельной личности. Явление, если говорить правду, само по себе прискорбное; но что ж делать, когда иначе не бывает в известных периодах развития? Поневоле надобно признать, что люди, которые были авторитетами добра и истины, заслуживают глубокой благодарности за пользу, которую принесли, за успехи, совершенные под их влиянием и пока невозможные без них.

Такова была доля Грановского в деле нашего развития. Он был одним из сильнейших посредников между наукою и нашим обществом; очень немногие лица в нашей истории имели такое

могущественное влияние на пробуждение у нас сочувствия к высшим человеческим интересам; наконец, для очень многих людей, которые, отчасти благодаря его влиянию, приобрели право на признательность общества, он был авторитетом добра и истины. Все это, как видим, не принадлежит к числу тех специальных заслуг, на которых зиждется слава ученого. А, между тем, в них-то именно и должно состоять истинное значение ученого в нашем обществе. То, что стало уже второстепенным делом на Западе, у нас еще составляет существеннейший вопрос жизни; то, чего требует от своих людей Запад, еще не требуется нашим обществом. Люди, которые скорбят о том, что наше общество, наше просвещение и т. д. как две капли воды походят на западное общество, западное просвещение и т. д., оскорбляются фактами, решительно созданными их воображением. Если б мы разделяли их понятия, мы, напротив, повсюду видели бы повод к радости: сходства между нами и Западом пока еще не заметно ни в чем, если хорошенько вникнем в сущность дела.

Так, например, и Грановский был возможен только у нас. Человек, по природе и образованию призванный быть великим ученым и шедший всю жизнь неуклонно и неумолимо по ученой дороге, не оставил, однако, по себе сочинений, которыми наука двигалась бы вперед (единственное средство к приобретению имени великого ученого на Западе), — и, между тем, каждый из нас говорит, что он несомненно был великим ученым и исполнил все, к чему призывал его долг ученого. Кажется, такого суждения нельзя обвинять в подражательности западным примерам; мы не знаем даже, можно ли его сделать вразумительным для немца или англичанина, не обрусевшего в значительной степени. Так и во всем: наше общество все мерит своим аршином, а вовсе не французским метром (хотя он гораздо удобнее) и не английским футом (хотя он и введен у нас, на словах). За оригинальность нашу нечего опасаться: сильнее обстоятельств времени не будет никто, подчиняется им всякий.

Однако, почему же Грановский писал мало и не оставил сочинений,двигающих науку вперед? Потому, что он был истинный сын своей родины, служивший потребностям ее, а не себе. Не знаем, сознавал ли он, на какую высоту становится, какую блестящую славу снискивает, отказываясь от своей личной ученой славы. По всей вероятности, он и не думал об этом: он был человек простой и скромный, не мечтавший о себе, не знавший самолюбия; надобно даже предполагать, что он и не приносил тяжкой для гордости жертвы, отказываясь от легко исполнимого при его силах стремления занять почетное место в науке капитальными трудами. Он просто исполнял свой долг, употребляя свои силы сообразно требованиям занимаемого им положения в русском обществе. Положение было таково, что все лежавшие на нем требования общества и науки существенно исполнялись живым сло-

вом, — и литературная деятельность была для него только повторением, только делом досуга и личной, случайной охоты повторить на бумаге то, что уже достигло своей цели посредством живого слова. Как профессор Московского университета, без всяких сравнений значительнейшего из ученых учреждений России по влиянию на жизнь общества и развитие нашего просвещения, Грановский имел круг деятельности едва ли менее обширный, нежели круг действия литературы. Непринужденность изложения, полнота выражения мысли, какая давалась ему живым словом, не существует в литературе. Какое же побуждение мог он иметь для повторения в искаженном виде того, что уже было сообщено публике? Он не нуждался в литературе, как посреднице между ним и публикою. Но, однако ж, он должен был чувствовать важность литературы, должен был и на нее простираť свое влияние? И для этого точно так же не имел он надобности писать. Его высокий ум, обширные и глубокие познания, удивительная привлекательность характера сделали его центром и душою нашего литературного кружка. Все замечательные ученые и писатели нашего времени были или друзьями, или последователями его. Влияние Грановского на литературу в этом отношении было огромно. Конечно, возможность такого действия через беседу, чрез личные отношения, связывающие людей в один кружок, обуславливается малочисленностью нашего литературного сословия. Ведь если разобрать хорошенько, у нас в этом отношении и до сих пор существует порядок вещей, мало чем отличный от того, что было во времена «Беседы любителей русского слова» и «Арзамаса»: все наши литераторы и ученые наперечет, каждый из них лично знаком со всеми остальными; это совершенно не то, что в Германии, Франции, Англии, где они считаются сотнями и тысячами, где всеобщее знакомство — вещь невозможная. У нас, если хотите, и вообще наука и литература отчасти семейное дело, и, по патриархальному обычаю, в ней устными разговорами и тому подобными до-гуттенберговскими средствами ведется многое, что в какой-нибудь Германии может существовать и обнаружить действие только при помощи типографских чернил.

Таким образом, Грановский удовлетворял всем условиям своего положения, обнаруживал все свое влияние, не нуждаясь в посредстве литературных трудов, которые были для него делом второстепенным. Тем не менее, литературная его деятельность вовсе не так незначительна по объему, как полагали некоторые, не думавшие, чтоб из напечатанного Грановским при жизни составились два большие тома. Что касается важности его сочинений и особенно духа, проникающего все их, тут едва ли может быть место спору. Конечно, как и о всем на свете, об ученом достоинстве сочинений Грановского существуют мнения, не совершенно согласные. Одни, из благоговения к автору, благородная личность и чрезвычайно плодотворная деятельность которого действитель-

но заслуживают всевозможного уважения, готовы поставить его произведения во всех отношениях слишком высоко; другие, не принимая в уважение особенных требований русского общества от науки, находят, что сочинения Грановского не имеют качеств, необходимо требуемых от капитального ученого труда в Германии или Франции. Но дело в том, что разноречие этих, повидимому, противоположных суждений существует преимущественно только в тоне, а не в самой мысли. Одни, по личным чувствам своим к автору, говорят о его сочинениях голосом любви, другие, также по своим чувствам к личности автора, голосом недовольства. Но и самые жаркие поклонники Грановского хорошо понимают, что собственно в европейской науке его сочинения не могут произвести эпохи, потому что не таково в настоящее время призвание русских ученых; и самые смелые из восстававших против Грановского признавали в его сочинениях, кроме мастерского изложения и других литературных достоинств, чрезвычайно замечательную ученость и глубокомыслие*.

Действительно, сочинения Грановского, напечатанные при его жизни (суждение о его университетских курсах мы должны отложить до того времени, когда они будут обнародованы), не будучи таковы, чтоб ими производился переворот в науке, как производился он трудами Гизо, Шлоссера или Нибура, показывают, однако же, в авторе такие качества ума и такое обширное знание, что нельзя не признать его одним из первых историков нашего века, ученым, который был не ниже знаменитейших европейских историков; что в России не имел он соперников, это всегда было очевидно для каждого. Внимательное и строгое рассмотрение собранных ныне его статей убеждает в том. Панегирики Грановскому не нужно, и потому разбор наш будет совершенно чужд хвалебного элемента; но чем он беспристрастнее, тем несомненнее общий вывод, теперь высказанный.

Издатели распределили сочинения Грановского на три отдела: 1) сочинения общего исторического содержания: «О современном состоянии и значении всеобщей истории»; «О физиологических признаках человеческих пород»; «О родовом быте в древних германцев». 2) Частные исследования: «Судьбы еврейского народа»; «Волин, Йомсбург и Винета»; «Аббат Сугерий»; «Четыре исторические характеристики: Тимур, Александр Великий, Людовик IX и Бэкон», «Песни Эдды о Нифлунгах» (оба эти отдела вошли в состав первого тома). 3) Критические статьи, из которых составитя второй том. Мы не находим причин отступать от этого порядка в своем обозрении.

Речь «О современном состоянии и значении всеобщей исто-

* Мы говорим, конечно, о мнении людей знающих в той и другой партии, не обращая внимания на выходки некоторых несведущих людей, невежество которых было тогда же изобличаемо.

рии» была произнесена в торжественном собрании Московского университета в 1852 году. Издатели справедливо почли нужным дать ей первое место в первом отделе, «потому что в ней изложены самые зрелые понятия автора о науке, которая составляла главный предмет его занятий».

История принадлежит к числу тех наук, быстрым усовершенствованием которых гордятся новейшие времена. Надобно даже сказать, что история, как мы ныне понимаем ее, как «изображение постепенного развития жизни рода человеческого», возникла только в последние времена. Ни классический мир, ни средние века не знали ее в этом смысле. Те ученые, которые назначают самый древний срок возникновению настоящего понятия об истории, называют отцом ее великого Вико (в начале прошедшего века), потому что книга Боссюэта (в конце XVII столетия), «Трактат о всеобщей истории», не имеет значения, которое хотели придать ей некоторые французские историки. Другие, с большею основательностью, относят начало всеобщей истории к заслугам Монтескьё и Гердера. Еще справедливее судят те, которые говорят, что истинное понятие о всеобщей истории развито преимущественно Кантом, его учениками и последователями; но едва ли не ближе всех к истине то мнение, что только нашему веку удалось ясно постичь идею всеобщей истории, потому что только с Гегеля, Гизо, Нибура, Шлоссера начинается деятельная разработка этой идеи; только в творениях этих великих ученых и их последователей мы находим первые значительные опыты дать человечеству полный и точный рассказ о его жизни. Но и эти труды, как ни колоссальны по своему значению, все еще далеко не удовлетворительны. Недостатки их заключаются не в одних частных несовершенствах исполнения, но еще более в недостаточности общего плана, односторонности и неполноте воззрения на жизнь человечества. Жизнь рода человеческого, как и жизнь отдельного человека, складывается из взаимного проникновения очень многих элементов: кроме внешних эффектных событий, кроме общественных отношений, кроме науки и искусства, не менее важны нравы, обычаи, семейные отношения, наконец, материальный быт: жилища, пища, средства добывания всех тех вещей и условий, которыми поддерживается существование, которыми доставляются житейские радости или скорби. Из этих элементов только немногие до сих пор введены в состав рассказа о жизни человечества. Так называемая политическая история, то есть рассказ о войнах и других громких событиях, до сих пор преобладает в рассказе историков, между тем как на деле она имеет для жизни рода человеческого только второстепенную важность. История умственной жизни, да и то только в тесном кругу немногочисленных классов, принимающих деятельное участие в развитии наук и литературы, одна только разделяет с политическою историею право на внимание автора, — да и только в немногих

сочинениях, до сих пор остающихся редкими исключениями в массе исторических книг; да и тут она играет второстепенную роль. История нравов обращает на себя еще гораздо менее внимания. О материальных условиях быта, играющих едва ли не первую роль в жизни, составляющих коренную причину почти всех явлений и в других, высших сферах жизни, едва упоминается, да и то самым слабым и неудовлетворительным образом, так что лучше было бы, если б вовсе не упоминалось. Не говорим уже о том, что в сущности вся история продолжает быть по преимуществу сборником отдельных биографий, а не рассказом о судьбе целого населения, то есть скорее похожа на сборник анекдотов, прикрываемых научною формою, нежели на науку в истинном смысле слова *.

Чем ближе вникаем мы в труды, совершенные поныне для истории, тем более убеждаемся, что ныне мы имеем только идею о том, чем должна быть эта наука, но едва еще видим первые, односторонние опыты осуществить эту идею. Не будем рассматривать причин, по которым практика так отстала в этом случае от теории: это завлекло бы нас слишком далеко; скажем только, что, с одной стороны, затруднением служат скудость и необработанность материалов для истории тех элементов жизни, которые до сих пор упускались из виду. С другой стороны, едва ли не важнейшим еще препятствием надобно считать узкость и отвлеченность обыкновенного взгляда на человеческую жизнь. Антропология только еще начинает утверждать свое господство над отвлеченною моралью и одностороннею психологию.

Как все еще не установившиеся науки, история часто испытывает изменения, состоящие в том, что внимание исследователей постепенно обращается то на один, то на другой из элементов науки, которые прежде были забываемы. Речь Грановского имеет

* Чтобы указать пример того, как тесен еще горизонт всеобщей истории в лучших сочинениях, приводим план сочинения Гизо, который понял науку шире, нежели кто-нибудь из других великих историков. Заканчивая первый год своих чтений об «Истории цивилизации», он делает общий обзор содержания своих лекций и говорит, что предметом их была «политическая и церковная история, история законодательства, философии и литературы». Очевидно, что этою программю, кроме политической истории, занимающей первое место, обнимается только часть умственной жизни народа, многие сферы которой остались нетронутыми. О материальной стороне жизни программа и не упоминает. Вообще, Гизо часто повторяет, что излагает историю «внутренней жизни человека и его отношений к другим людям»: об истории отношений человека к природе и не упоминается, а между тем, в природе источники человеческой жизни и вся жизнь коренным образом определяется отношениями к природе. Само собою разумеется, что мы указываем на Гизо не за тем, чтобы укорять его за односторонность, а, напротив, потому, что он в смысле, занимающем теперь нас, стоит выше других историков нашего времени. Программа Шлоссера, другого замечательнейшего историка по обширности взгляда на содержание своей науки, не многим отличается от программы Гизо.

своим главным предметом одно из значительнейших приобретений, доставленных истории союзом с естественными науками, которых прежде не хотела она знать. При той чрезвычайной важности, какую играет в жизни и должна приобрести в истории натуральная сторона человеческого быта, понятно, что влияние естественных наук на историю должно со временем сделаться неизмеримо сильным. В настоящее время еще очень немногие историки предчувствуют это. Грановский принадлежал к числу их. В очерке, который мог быть только плодом глубокого изучения, соединенного с редкою проникательностью, изобразив развитие идеи всеобщей истории до великого Нибура, давшего в первый раз прочные основания исторической критике, Грановский сосредоточивает мысль на новой эре, возникающей для науки от приложения к ней великих результатов, достигаемых естествознанием. Поводом к этому эпизоду послужил ему вопрос о значении человеческих пород, который раньше других разрешен теперь с некоторою степенью удовлетворительности.

Заслуга Нибура, — говорит Грановский, — не ограничилась введением новых и точных примеров критики. Еще будучи юношею, в частной переписке своей, он высказал несколько смелых и плодотворных мыслей о необходимости дать истории новые, заимствованные из естествознания основы. Историческое значение человеческих пород не ускользнуло от его внимания; но ему не привелось развить вполне и приложить к делу свои предположения об этом столь важном предмете... Около того же времени вопрос о породах начал занимать пытливые умы вне Германии. Фориель, братья Тьерри и другие ученые старались объяснить отношения различных народностей, преимущественно господствовавших на почве Франции и Англии. Они озарили ярким светом начало средневековых народов и обществ, но не решились переступить чрез обычные грани исторических исследований и оставили в стороне физиологические признаки тех пород, которых исторические особенности были ими тщательно определены. Надобно было, чтобы натуралист поддал, наконец, голос против такого стеснения нашей науки и указал на связь ее с физиологиею. В 1829 году Эдвардс издал письмо свое к Амедею Тьерри о физиологических признаках человеческих пород и отношений их к истории. Высказанные им по этому поводу мысли были приняты с общим одобрением, но до сих пор еще не принесли желаемой пользы... Уступки, сделанные историками новым требованиям, были большею частью внешние. Дальнейшее упрямство, впрочем, невозможно, и история, по необходимости, должна выступить из круга наук филолого-юридических, в котором она так долго была заключена, на обширное поприще естественных наук... Действуя заодно с антропологиею, она должна обозначить границы, до которых достигали в развитии своем великие породы человечества, и показать нам их отличительные, данные природою и проявленные в движении событий, свойства... Но не одною этою только стороною граничит история с естествознанием. Еще древние заметили решительное влияние географических условий, климата и природных определений вообще на судьбу народов. Монтескье довел эту мысль до такой крайности, что принес ей в жертву самостоятельную деятельность человеческого духа. Несмотря на то, отношение человека к занимаемой им почве и их взаимное действие друг на друга еще никогда не были удовлетворительным образом объяснены. Великое творение Карла Риттера, принимающего землю за «храмину, устроенную провидением для воспитания рода человеческого», проложило, конечно, новые пути историкам нашего времени; но многие ли воспользовались этими трудными путями и предпичали их

прежним, пробитым бесчисленными предшественниками тропинкам? Вошедший теперь в употребление обычай снабжать исторические сочинения географическими введениями, заключающими в себе характеристику театра событий, показывает только, что значение и успехи сравнительного землеведения обратили на себя внимание историков и заставили их изменить несколько форму своих произведений. Самое содержание не много выиграло от этого нововведения. Географические обзоры, о которых мы упомянули, редко соединены органически с дальнейшим изложением. Предпослав труду своему беглый очерк описываемой страны и ее произведений, историк с спокойною совестью переходит к другим, более знакомым ему предметам и думает, что вполне удовлетворил современным требованиям науки. Как будто действие природы на человека не есть постоянное, как будто оно не видоизменяется с каждым великим шагом его на пути образованности? Нам еще далеко неизвестны все таинственные нити, привязывающие народ к земле, на которой он вырос и из которой заимствует не только средства физического существования, но значительную часть своих нравственных свойств. Распределение произведений природы на поверхности земного шара находится в теснейшей связи с судьбою гражданских обществ. Одно растение обуславливает иногда целый быт народа. История Ирландии была бы, бесспорно, иная, если бы картофель не составлял главного пропитания для ее жителей...

Вслед затем Грановский указывает на важнейшие места статьи г. Бэра, одного из тех ученых, которыми можем мы гордиться, «О влиянии внешней природы на социальные отношения отдельных народов и историю человечества». Это сочинение не обратило у нас на себя того внимания, какого заслуживает. Грановский и в этом случае, как в очень многих других, показал себя человеком, который далеко превышает других знанием всего, что совершается в науке, и способностью оценивать по достоинству фазисы ее современного развития. Вообще, даже большая часть людей, стоящих у нас во главе умственного движения, живут, по меткому житейскому выражению, еще «задним числом» и считают новейшим то, что в движении науки было новым десять или двадцать лет тому назад. Слова Пушкина о русских книгах, что в них «русский ум зады твердит», остаются справедливыми до сих пор, и сочинения Грановского принадлежат к небольшому числу исключений из этого правила: из его слов действительно можно «узнавать судьбу земли» *.

Переходя от фактов, долженствующих служить содержанием истории, к основаниям общего воззрения на эти факты или методу науки, Грановский опять показывает, что в новейшее время понятия об этом вопросе также уяснились. Попытки спекулятив-

* Сокровища родного слова
(Заметят важные умы)
Для лепетания чужого
Пренебрегли безумно мы.
Мы любим муз чужих игрушки,
Чужих наречий погремушки,
А не читаем книг своих.
Да где ж они? Давайте их!
.

И где ж мы первые познанья
И мысли первые наши?
Где поверяем испытанья,
Где узнаем судьбу земли?
Не в переводах одичалых,
Не в сочиненьях запоздалых,
Где русский ум и русский дух
Зады твердит и лжет за двух.
(Отрывки из «Альбома Онегина»)

ного построения истории, фаталистическое воззрение и, с другой стороны, стремление ограничиться простым переложением летописных сказаний на современный язык обнаружили свою неудовлетворительность. Какой же метод должна принять история? Союз с точными науками должен помочь ей и в этом деле, говорит Грановский:

Ни одно из исчисленных нами воззрений на историю не могло привести к точному методу, недостаток которого в ней так очевиден. Усовершенствованный, или, лучше сказать, созданный Нибуром способ критики приносит величайшую пользу при разработке источников известного рода, но отнюдь не удовлетворяет потребности в приложимом к полному составу науки методе. В этом случае история опять должна обратиться к естествоведению и заимствовать у него свойственный ему способ исследования. Начало уже сделано в открытых законах исторической аналогии. Остается идти далее на этом пути, раздвигая, по возможности, тесные пределы, в которых до настоящего времени заключена была наша наука. У истории две стороны: в одной является нам свободное творчество духа человеческого, в другой — независимость от него. Новый метод должен возникнуть из внимательного изучения фактов мира духовного и природы в их взаимодействии. Только таким образом можно достигнуть до прочных основных начал, т. е. до ясного знания законов, определяющих движение исторических событий. Может быть, мы найдем тогда в этом движении правильность, которая теперь ускользает от нашего внимания. В рассматриваемом нами вопросе статистика определила историю. «В противоположность принятым мнениям, — говорит Кетле, — факты общественные, определяемые свободным произволом человека, совершаются с большею правильностью, нежели факты, подверженные простому действию физических причин. Исходя из этого основного начала, можно сказать, что нравственная статистика должна отныне занять место в ряду опытных наук». Мы не в праве сказать того же об истории. Пока она не усвоит себе надлежащего метода, ее нельзя будет назвать опытной наукою.

Но к чему же должна вести человека история? Конечно, наука не может быть подчиняема внешним требованиям, ее истины не должны быть искажаемы в угодность частным и временным интересам. В этом заключается справедливость аксиомы — «цель науки есть самая наука». Но каждое знание обращается во благо человеку, и рвение, с которым разрабатывается та или другая отрасль науки, зависит от того, в какой мере удовлетворяет она той или другой, нравственной или житейской, умственной или материальной, потребности человека. Каждое знание оказывает влияние на жизнь, и история, наука о жизни человечества, не должна остаться без влияния на его жизнь; и кто захочет ныне трудиться над бесполезным для человека?

Современный нам историк не может отказаться от законной потребности нравственного влияния на своих читателей. Вопрос о том, какого рода должно быть это влияние, тесно связан с вопросом о пользе истории вообще... Очевидно, что практическое значение истории у древних, основанное на возможности непосредственного применения ее уроков к жизни, не может иметь места при сложном организме новых обществ. К тому же однообразная игра страстей и заблуждений, искажающая судьбу народов, привела многих к заключению, что исторические опыты проходят бесплодно, не оставляя поучительного следа в памяти человеческой... Тем не менее, нельзя

отрицать в массах известного исторического смысла, более или менее развитого на основании сохранившихся преданий о прошедшем... Приведенные нами выше слова Кетле о статистике со временем получают приложение и к нашей науке. Ей предстоит совершить для мира нравственных явлений тот же подвиг, какой совершен естествоведением в принадлежащей ему области. Открытия натуралистов рассеяли вековые и вредные предрассудки, затмевавшие взгляд человека на природу: знакомый с ее действительными силами, он перестал приписывать ей несуществующие свойства и не требует от нее невозможных уступок. Уяснение исторических законов приведет к результатам такого же рода. Оно положит конец несбыточным теориям и стремлениям, нарушающим правильный ход общественной жизни, ибо обличит их противоречие с вечными целями, поставленными человеку провидением. История делается, в высшем и обширнейшем смысле, чем у древних, наставницею народов и отдельных лиц и явится нам, не как отрезанное от нас прошедшее, но как цельный организм жизни, в котором прошедшее, настоящее и будущее находятся в постоянном между собою взаимодействии: «История, — говорит американец Эмерсон, — не долго будет бесплодною книгою. Она воплотится в каждом разумном и правдивом человеке. Вы не станете более исчислять заглавия и каталоги прочитанных вами книг, а дадите мне почувствовать, какие периоды пережиты вами. Каждый из нас должен обратиться в полный храм славы. Он должен носить в себе допотопный мир, золотой век, яблоко знания, поход Аргонавтов, призвание Авраама, построение храма, начало христианства, средний век, возрождение наук, Реформацию, открытие новых земель, возникновение новых знаний и новых народов. Надобно, одним словом, чтобы история слилась с биографиею самого читателя, превратилась в личное его воспоминание...»

И за этим воззрением, постигаемым еще немногими, но равно принадлежащим всякому истинно современному историку, Грановский тотчас же выражает сам себя, — быть может, вовсе не сознавая, что говорит уже о себе, характеризует оттенок воззрения, возводимый до просветления грустной науки его кроткою и любящею личностью:

Даже в настоящем, далеко не совершенном виде своем, всеобщая история, более чем всякая другая наука, развивает в нас верное чувство действительности и ту благородную терпимость, без которой нет истинной оценки людей. Она показывает различие, существующее между вечными, безусловными началами нравственности и ограниченным пониманием этих начал в данный период времени. Только такою мерою должны мы мерять дела отживших поколений. Шиллер сказал, что смерть есть великий примиритель. Эти слова могут быть отнесены к нашей науке. При каждом историческом проступке она приводит обстоятельства, смягчающие вину преступника, кто бы ни был он — целый народ или отдельное лицо. Да будет нам позволено сказать, что тот не историк, кто не способен перенести в прошедшее живого чувства любви к ближнему и узнать брата в отделенном от него веками иноплеменике. Тот не историк, кто не сумел прочесть в изучаемых им летописях и грамотах начертанные в них яркими буквами истины: в самых позорных периодах жизни человечества есть искупительные, видимые нам на расстоянии столетий стороны, и на дне самого грешного пред судом современников сердца таится одно какое-нибудь лучшее и чистое чувство...

Мы так долго останавливались на этой речи, приводили из нее столько отрывков не потому только, что она действительно принадлежит к числу произведений, каких немного в целой нашей литературе: мы считали также нужным, чтобы читатель имел пе-

ред глазами пример, на котором мог бы проверять справедливость суждения, которое необходимо высказать прямым образом о собственно ученой стороне сочинений Грановского. Мы упоминали, что некоторые смотрели на нее с недоверчивостью и если не решались, по инстинктивному сознанию своей слабости в научном деле и своей неправоты, высказывать сомнений открыто, то не упускали случаев ввернуть какой-нибудь таинственный намек об этом предмете. Мы помним даже, что один полубездарный компилятор, открывший,

Рассудку вопреки, наперекор стихиям,

что Англия обширнее России, и тем заставивший иных возыметь выгодное мнение о его знаниях, — помним, что он в какой-то географической или статистической статейке дерзнул вставить замечание, что Тамерлан был ничтожный человек, которого могут считать достойным внимания истории только тупоумные и безнравственные люди. Вы, может быть, и не догадались, что это был смертный приговор Грановскому, избравшему Тимура предметом одной из своих публичных лекций, читанных в 1851 году. Возражать подобным приговорщикам, конечно, не стоит; но нравственное уродство доходит иногда до такой нелепости, что интересно бывает рассмотреть причины, его образовавшие. Ценители литературных произведений разделяются на два класса: одни имеют настолько ума и знания, что могут судить о предмете по его внутренним качествам, понимать сущность дела; другие неспособны к этому, по недостаточному знакомству с делом или по непроницательности взгляда. Что же остается делать последним, когда они одарены таким самолюбием, что непременно хотят делать приговоры о вещах, сущность которых не доступна их пониманию? Они хватаются за внешние признаки и, например, если дело идет о поэтическом произведении, руководятся именем автора: прочтите им «Бориса Годунова», сказав, что эту драму написал бездарный человек, они решат, что драма плоха; прочтите «Таньку, разбойницу Ростокинскую», сказав, что роман этот написал г. Лажечников, и они скажут, что роман хорош. Это люди простые и невзыскательные. Когда речь пойдет об ученых предметах, иные судьи руководствуются более замысловатыми основаниями: ведь ученость дело мудреное. Зато приметы, по которым она узнается непонимающими ее людьми, очень ясны, так что ошибка невозможна: непонятный язык, тяжелое изложение, множество бесполезных ссылок, заносчивость автора, присвояющего себе все, что сделано другими. Особенно последнее качество полезно: есть люди, которые поверят вам на слово, если вы скажете, что вы первый открыли, что Александр Македонский победил персов, и жестоко будете изобличать ваших предшественников, которые все ошибались и не понимали, что Александр Македонский был герой. Вы можете

инных уверить даже в том, что не Колумб, а вы открыли Америку: ведь уверил же в этом очень многих Америк Веспущий. Но горе вам во мнении этих знатоков, если вы не хотите окружать себя ореолом педантизма, если вы с уважением отзываетесь о других ученых, занимавшихся одним с вами предметом, говорите, что истина, ими открытая, действительно есть истина, если вы не выставляете заботливо различия между тем, что в вашем сочинении принадлежит к прежним приобретениям науки и что принадлежит собственно вам, — тогда знатоки, о которых мы говорим, с первого же раза поймут, в чем дело, и догадаются, что вы человек неученый, поверхностный, что вы только переписываете чужие труды, что у вас нет самостоятельного взгляда, и т. д., и т. д. Очень жаль, что таким знатокам не вздумалось оценить творения Гизо, Августина Тьерри, Маколя: мы узнали бы, что все эти писатели были люди малосведущие, поверхностные компиляторы. Да и Шлоссер не ушел бы от этого строгого, но справедливого приговора: ведь у него на каждой странице встречается фраза «в этом случае я совершенно согласен с мнением такого-то и лучшего ничего не умею сказать, как повторить его слова», после чего следует длинная выписка.

Грановский не напечатал при жизни таких обширных и капитальных сочинений, которые могли бы, по своему значению для науки, быть сравниваемы с творениями великих писателей, нами названных. Надобно думать, что издание его университетских курсов значительно изменит это отношение. Но нет надобности ждать, пока его лекции будут напечатаны, чтобы иметь полное право признать в нем не только ученого, имевшего огромное значение для Московского университета, русской литературы, русского просвещения вообще, признать в нем не только первого из немногочисленного круга ученых, занимающихся у нас всеобщую историю, но и одного из замечательнейших между современными европейскими учеными по обширности и современности знания, по широте и верности взгляда и по самобытности воззрения. Та небольшая статья, обзор которой так долго занимал нас, одна может доставить достаточные доказательства тому. Мы нарочно выбрали не другое какое-нибудь сочинение, имеющее более серьезную внешность, а именно эту речь, написанную очень легко и популярно, без всяких внешних признаков учености и глубоко-мыслия, чтобы пример был тем убедительнее. Если в форму академической речи, которая почти всегда остается набором незначительных общих фраз, Грановский внес глубокое и новое содержание и самостоятельную идею, то тем скорее можно убедиться, что в его трудах более специальных эти достоинства были всегда неотъемлемыми качествами. Взглянем же на ученое достоинство речи, с содержанием которой тот, кто не имел случая прочесть ее прежде, мог ознакомиться через наши извлечения.

Читателю, знакомому с современною историческою литерату-

рою, хорошо известно, как немногие из нынешних историков успели понять необходимость того широкого взгляда, который внесен в науку Шлоссером и Гизо. Творения Ранке, Прескотта, Маколея отличаются великими достоинствами; быть может, в некоторых отношениях эти писатели должны быть поставлены выше Гизо и самого Шлоссера. Но по той тесной программе, которую они считают возможным ограничивать науку, они принадлежат прежнему направлению, обращавшему внимание почти исключительно на политическую историю. Сам Гегель, этот столь широкий ум, в сущности еще не выходил из ее тесных границ. После таких примеров надобно ли говорить о второстепенных ученых? Почти все они продолжают держаться рутины. Слабые признаки того, что программа Гизо и Шлоссера делается общемою программой исторических трудов, видим в том, что уже довольно часто один и тот же человек пишет равно основательные сочинения по политической истории и по истории литературы: в пример укажем на Маколея и Гервинуса. Но эти две отрасли одной науки продолжают оставаться для него различными науками, из которых одной так же мало дела до другой, как лет тридцать тому назад физиологии мало было дела до химии. И заметим, что такая разделенность, так стесняющая горизонт истории, не есть только недостаток выполнения, допускаемый этими историками по трудности в одно время объять своими исследованиями с равною полнотою ту и другую отрасль исторических материалов: нет, она допускается не слабостью исполнительных сил автора, а преднамеренно принимается его мыслью, как граница, полагаемая идеею самой науки: историк не то чтобы не мог — он просто не находит побуждения, не хочет дать своим исследованиям более широкий объем. Рутинная еще очень сильна. Грановский, напротив того, видит, что даже и та более широкая программа науки, которая у Шлоссера и Гизо до сих пор остается смелым нововведением, должна быть еще расширена присоединением к политическому и умственному элементам народной жизни натурного элемента; мало того, что он требует расширения границ науки, нынешняя односторонность которой чувствуется очень немногими, он видит, что она должна стать на новом, прочном основании строгого метода, которого ей до сих пор недостает. Надобно ли говорить, что этим предсказанием обозначается начало совершенно новой эпохи в науке?

Не должно обманываться тем, что Грановский ссылается в этих случаях на г. Бэра, Кетле, Эмерсона: надобно только приглядеться к его речи, чтобы увидеть тут нечто совершенно другое, нежели простое заимствование мыслей у того или другого ученого. Видно, что мысль крепко принадлежит самому Грановскому, и цитаты имеют целью только доказать, что не он один так думает, что мысль, им высказанная, не его личная выдумка, а вывод из нынешнего положения науки, делаемый каждым про-

нищательным человеком. Только у людей, которым инстинкт говорит, что, во всяком случае, несмотря на все видимые уступки своей собственности другим, они останутся довольно богаты, бывает это стремление указывать на людей, высказывавших ту же самую мысль, которая кажется им справедливою. И, действительно, кто вникнет в понятия Грановского, тот увидит, что они глубоко самостоятельны и прочувствованы им часто гораздо полнее и глубже, нежели теми людьми, на которых он ссылается. Пример у нас перед глазами: для Эмерсона мысль о значении истории далеко не имеет той важности, какую придает ей Грановский. Надобно еще заметить, что существенные приобретения наукою делаются не другим каким-либо способом, как тем, что к данной науке прилагаются истины, выработанные другою наукою. Так, химия обязана своими успехами введению количественного метода, заимствованного из математики; нравственные науки ныне подчиняются историческому методу и, без сомнения, много от него выиграют. Это до такой степени справедливо, что новая эпоха в науке создается чаще всего не специалистом, который слишком привык к рутине и обыкновенно отличается от своих сотоварищей только большим или меньшим объемом, но не существенным различием в содержании знания, — преобразователями науки бывають обыкновенно люди, первоначально занимавшиеся другою отраслью знания; так, например, Декарт, Лейбниц, Кант были математики, Адам Смит профессор словесности и логики, и т. д. Причина тому очень проста: человек, приступающий к глубокому исследованию с запасом знаний, чуждых другим ученым, легче замечает в новом предмете стороны, ускользающие от их внимания. Свобода от рутины также много значит.

Из специалистов обыкновенно только немногие обладают этими качествами, необходимыми для того, чтобы пролагать в науке новые пути: солидными знаниями в науках, которые не поставлены обычаем в число так называемых вспомогательных наук, и отсутствием рутины. Грановский принадлежал к этим немногим избранникам, и кто внимательно всмотрится в его сочинения, которые, по свидетельству всех знавших его, далеко не могут еще назваться полным отражением его богато одаренной личности, — тот убедится, что и эти немногие и небольшие трактаты дают уже несомненное доказательство того, что Грановский, если бы целью его деятельности была личная слава, мог бы стать на ряду с такими людьми, как Нибур, Гизо, Шлоссер. Но у него была другая цель, более близкая к потребностям его родины: служение отечественному просвещению, — и благословенна память его, как одного из могущественнейших и благороднейших деятелей на этом священном поприще.

Мы не будем теперь подробно разбирать остальных сочинений Грановского, помещенных в первом томе: каждое из них было в свое время основательно рассмотрено нашею ученою критикою,

и разве немногие замечания должно было бы прибавить относительно того или другого в отдельности к сказанному уже в наших журналах. Конечно, теперь, когда эти сочинения возможно обозревать в их связи, яснее прежнего становятся идеи, одушевлявшие Грановского, как ученого писателя; но для того, чтобы характеристика их духовного единства была полна и всесторонняя, надобно дожидаться появления второго тома, или, что будет еще лучше, издания его университетских курсов. Мы так и сделаем: если, давая нам второй том, издатели выскажут, как мы ожидаем, надежду, что печатание университетских курсов не замедлится, мы будем ждать этих курсов; если же не выскажется эта уверенность, что за вторым томом скоро явится третий и следующие, мы должны будем ограничиться рассмотрением двух изданных томов как отдельного целого. Тогда все-таки наш обзор будет полнее, нежели мог бы быть в настоящее время. Итак, теперь мы должны сказать только по несколько слов об отдельных статьях, вошедших в состав изданного тома.

За «Речью о значении истории» следует перевод письма известного натуралиста Эдвардса к Августину Тьерри «О физиологических признаках человеческих пород и их отношении к истории», с довольно обширными примечаниями и предисловием самого Грановского. В настоящем издании эта статья представляется как бы приложением к «Речи об истории», говорящей, между прочим, об ученом значении письма Эдвардса. Прекрасный разбор этого труда и вместе «Речи» Грановского был помещен г. Кудрявцевым в «Отечественных записках» (1853 г., т. LXXXVII).

Статью «О родовом быте у древних германцев» мы недавно имели случай рассматривать, говоря о II томе «Историко-юридического архива», в котором она была помещена³. Здесь прибавим только, что она действительно составила эпоху в прениях о родовом и общинном быте. Исследователи наши увидели необходимость придать более точности своим понятиям об этом важном вопросе нашей истории и заняться ближайшим сравнением форм нашей общины с подобными явлениями у других славянских племен и других европейских народов: тогда только решится, до какой степени надобно считать явления так называемого родового быта свойственными исключительно нашей истории и насколько в них общего с тем, что представляет история других народов; решится также, которое из двух различных воззрений на эти явления ближе к истине: то ли, которое существование родового быта признает продолжающимся до Владимира и Ярослава и даже далее, или то, которое утверждает, что во времена, с которых начинаются наши исторические предания, родовой быт уже распался, выделив из себя семью и превратясь в союз отдельных семей, общину. Факты, указанные Грановским, пролили много света на это дело и полагают конец многим ошибочным мнениям о совер-

шенном, будто бы, различии славянской общины от общин, какие застает история у германских и кельтских племен.

До определения своего профессором истории при Московском университете, покойный Грановский, тогда еще ничем не известный молодой человек, написал несколько статей для «Библиотеки для чтения». Каждый знает, каким переделкам редакция этого журнала подвергала печатаемые в нем сочинения, и издатели поступили очень благоразумно, решившись не вносить в собрание сочинений Грановского его статей, помещенных в «Библиотеке для чтения», «не будучи в состоянии отделить от них чужого нароста и отличить те изменения, которые сделаны в них самою редакциею журнала». Они перепечатали только первую из них: «Судьбы еврейского народа», чтобы дать пример начальных трудов Грановского по науке, лучшим представителем которой был он у нас впоследствии времени.

Два исследования: «Волин, Йомсбург и Винета» и «Аббат Сугерий», писанные для получения ученых степеней, имеют много общего: оба они, в угодность обычаю, облечены формою специализма, которой не любил Грановский, и могут совершенно удовлетворить строгих ценителей внешних признаков учености. Оба одинаково имеют предметом специальные вопросы всеобщей истории, обработку которых Грановский вообще не считал делом, долженствующим лежать на русском ученом, занимающемся всеобщею историею. Он выражался об этом так: «Одно из главных препятствий, мешающих благотворному действию истории, заключается в пренебрежении, какое историки оказывают обыкновенно к большинству читателей. Они, повидимому, пишут только для ученых, как будто история может допустить такое ограничение, как будто она по самому существу своему не есть самая популярная из всех наук, призывающая к себе всех и каждого. К счастью, узкие понятия о мнимом достоинстве науки, унижающей себя исканием изящной формы и общедоступного изложения, возникшие в удушливой атмосфере немецких ученых кабинетов, несвойственны русскому уму, любящему свет и простор. Цеховая, гордая своею исключительностью наука не в праве рассчитывать на его сочувствие». Официальная цель, с которою написаны оба исследования, поставила Грановского в необходимость сделать уступку сбычным требованиям и, сохранив общедоступность и интересность в изложении, дав своим частным темам такое значение, что они получили непосредственное отношение к историческим вопросам действительной важности, он снабдил их аппаратом специальной учености в разных эпизодических отступлениях и многочисленных примечаниях. Рутинисты не могли указать никакого недостатка в этом отношении, хотя и старались найти его, зная мнение Грановского о рутине. Они были побеждены собственным оружием, и когда один из их аколитов отважился было — вероятно, без совета старейшин — выступить гверилья-

сом против «Аббата Сугерия», воображая, что разбирать ученые сочинения так же легко, как переписывать чужие лекции, г. Бабст обнаружил крайнюю несостоятельность внушений, которым поддался этот отважный ученый.

«Четыре исторические характеристики», публичные лекции, читанные в 1851 году, были приняты публикою с обычным восторгом. В самом деле, они соединяют верность ученого понимания с увлекательным изложением; особенно лекция об Александре Македонском возвышается до истинной поэзии: едва ли кто-нибудь изобразил личность гениального юноши с такою верностью и таким блеском, как Грановский.

Лекциям о Тимуре, Александре Македонском, Людовике IX и Бэконе не уступает достоинством статья, заключающая первый том: «Песни Эдды о Нифлунгах». Г. Кудрявцев справедливо называет этот очерк «мастерским» и указывает на него, как на «образчик того, с какою любовью и с каким знанием дела занимался профессор изучением литературных памятников в связи с историею».